

Фёдор Михайлович Достоевский

**Село Степанчиково и его
обитатели**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д70

Д70 **Достоевский Ф.М.**
Село Степанчиково и его обитатели / Фёдор Михайлович Достоевский – М.:
Книга по Требованию, 2012. – 140 с.

ISBN 978-5-4241-2870-7

Федор Михайлович Достоевский принадлежит к числу самых знаменитых писателей XIX века. И в наши дни его произведения читаются с тем же неослабевающим интересом, что и при его жизни. Романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы" знают во всех странах мира.

ISBN 978-5-4241-2870-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Федор Михайлович Достоевский

Село Степанчиково и его обитатели

Часть Первая

Из записок неизвестного

I

Вступление

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довел; он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с белыми, как слоновою костью, зубами, с длинным темно-русом усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому

браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсионера. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слышали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перекладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем — генеральша.

В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, — словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвишне»? — и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потраковать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался

как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя — объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутком, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятный и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутком, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил — трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных Иван-Яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец все переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с

генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, — одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, — подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под голову страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные — разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подавание под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово нога, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчиково в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

— Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подавания? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой — но ведь это может случиться — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то — позвольте это вам сказать откровенно, полковник, — всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного

случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарпортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только попробует жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подзвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвергивался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремящая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, — прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнувшись, — ты растерзал мои внутренности... *mes entrailles, mes entrailles!*

— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? — робко возражает полковник.

— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

— Ну, да ведь она, братец, *grande dame*, генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезревшее и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

— Это, брат, девица Перепелицына, — замечает полковник своему слушате-

лю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надыхала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но заматавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить

и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалования или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутках составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться — вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устройю вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесечно. Грянет наконец мое имя, и тогда — горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирався прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ло-

маться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только рассказы, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягко характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уже так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости — «чтоб уж так ... чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом — ее идолом, боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое, — идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том,

что Фома ниспослан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто с языка срывается... Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутках у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписывал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью ухаживать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В учености же и в гениальности Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж, верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувыр-колегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно